

Ашик-Кериб

Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звёзды на небеси, но за звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить её руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель идёт мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка;

Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то она сделается женою Куршудбека, который давно уж за неё сватается.

Пришёл Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу её благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, опёрся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь, — кричал ему бек, — куда бы ты ни шёл, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста,

ни броду. «Плыви вперёд, — сказал Куршудбек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! Куршудбек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршудбек привёз его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршудбека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф; по обыкновению, взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши¹ измучились, бегая по городу;

¹ Чауши — в Турции судебные рассыльные и судебные приставы.

вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою». — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою когда придётся, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблестали на нём богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит

золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это моё», — сказал он, схватив его рукою. «Точно твоё», — сказал купец, — я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать», — и хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло моё и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаёшь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он

закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты, неверный, — сказал сердито всадник, — но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот, улыбувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына,пусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сынапусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение». Но дочь, не внимая её упрекам, встала, отперла двери ипустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на нём играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это

сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилияз помог мне спуститься с крутого утёса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «Рашид» (храбрый), — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слёз; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придёт?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна

струна порвётся, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха оцупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришёл незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжёшь; как можно из Халафа приехать сюда в день?»

«За что ж ты меня хочешь убить, — сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырёх сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали её подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек оста-

новил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувства, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она, — это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб», — и, взяв её под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развёл его водою и намазал матери глаза, промолвив: «Знайте все люди, как могуч и велик Хадрилияз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери. Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу, сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми её за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

Соловей

В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император китаец, и все его подданные китайцы.

Давным-давно это было, но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она ещё не совсем позабыта.

Во всём мире не нашлось бы дворца лучше, чем у китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого тонкого и хрупкого, что и дотронуться страшно. В саду росли диковинные цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они звенели, чтобы никто не прошёл мимо, не заметив цветов. Вот как хитро было придумано!

Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. За садом был чудесный лес с высокими деревьями и глубокими озёрами, и доходил он до самого синего моря. Большие корабли могли заплывать прямо под ветви, и здесь, у самого берега моря, жил соловей. Пел он так дивно, что его заслушивался даже бедный рыбак, у которого и без того дел хватало.

Со всех концов света приезжали в столицу императора путешественники; все они дивились дворцу и саду, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Вернувшись домой, они рассказывали об увиденном. Ученые описывали в книгах столицу, дворец и сад императора и никогда не забывали о со-

ловье — его хвалили особенно; поэты слагали чудесные стихи о соловье, живущем в лесу у синего моря.

Книги расходились по всему свету, и некоторые дошли до самого императора. Он сидел в своём золотом кресле, читал и каждую минуту кивал головой — очень уж приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» — стояло в книге.

— Как! — сказал император. — Что за соловей? Ничего о таком не знаю! Неужто в моей империи, и даже в моём собственном саду, есть такая птица, а я о ней ничего не слышал? И вот приходится вычитывать такое из книг!

И он послал за своим первым министром. Тот был такой важный, что если кто-нибудь чином пониже осмеливался заговорить с ним или спросить о чём-либо, он отвечал только: «П!» — что ровно ничего не значит.

— Говорят, у нас есть замечательная птица по имени соловей, — сказал император. — Говорят, лучше её нет ничего в моём государстве. Почему мне ни разу о ней не докладывали?

— Никогда не слышал такого имени, — сказал министр. — Наверное, она не была представлена ко двору!..

— Желаю, чтобы она явилась во дворец и пела предо мной сегодня же вечером! — сказал император. — Весь свет знает, что у меня есть, а я не знаю!

— Никогда не слышал такого имени! — повторил министр. — Будем искать, разыщем!

А где её разыщешь?

Министр бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных, к которым он обращался, ничего не слышал о соловье. Тогда министр снова прибежал к императору и заявил, что сочинители, верно, рассказывают сказки.

— Ваше императорское величество! Не верьте всему, что пишут в книгах! Всё это одни выдумки, так сказать, чёрная магия!

— Но ведь книга, в которой я прочёл о соловье, прислана мне могущественным императором Японии, в ней не может быть неправды! Хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня вечером! Объявляю ему моё высочайшее благоволение! А если его не будет, весь двор, как отужинает, будет бит палками по животу!

— Цзин-пе! — сказал первый министр и снова забегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, а с ним вместе забегала и половина придворных — уж больно им не хотелось, чтобы их били палками по животу. И все лишь об одном и спрашивали: что это за соловей, которого весь свет знает и только при дворе никто не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку. Она сказала:

— Господи! Как не знать соловья! Вот уж поёт-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живёт она у самого моря. И вот когда на обратном пути я устану и присяду отдохнуть в лесу, я слушаю соловья. Слезы так и потекут

из глаз, а на душе-то так радостно, словно матушка целует меня!

— Девочка, — сказал министр, — я зачислю вас на должность при кухне и исплопочу вам позволение посмотреть, как кушает император, если вы проведёте нас к соловью. Он приглашён сегодня вечером к императору!

И вот все отправились в лес, в котором жил соловей. Шли они, шли, как вдруг замычала корова.

— О! — сказал камер-юнкер. — Вот он! Какая, однако, сила у такого маленького создания! Мне определённо уже доводилось слышать его!

— Нет, это корова мычит! — отвечала маленькая кухарка. — А нам ещё далеко идти!

Вот в пруду заквакали лягушки.

— Восхитительно! Восхитительно! — сказал придворный священник. — Теперь я его слышу! Точь-в-точь как малые колокола!

— Нет, это лягушки! — отвечала маленькая кухарка. — Но теперь, пожалуй, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

— Вот он! — сказала девочка. — Слушайте! Слушайте! А вон и он сам!

И она указала на серенькую птичку среди ветвей.

— Возможно ли! — сказал министр. — Никак не воображал его себе таким! Уж больно простоват на вид! Верно, он стусевался при виде стольких знатных особ.

— Соловушка! — громко крикнула девочка. — Наш милостивый император хочет, чтобы ты ему спел!

— С величайшим удовольствием! — отвечал соловей и запел так, что любо-дорого было слушать.

— Совсем как стеклянные колокольчики! — сказал министр. — Смотрите, как он старается горлышком! Просто удивительно, что мы не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть ли мне ещё для императора? — спросил соловей. Он думал, что император был тут.

— Мой несравненный соловушка! — сказал министр. — Имею приятную честь пригласить вас на имеющий быть сегодня придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его императорское величество своим восхитительным пением!

— Меня лучше всего слушать в лесу! — сказал соловей, но всё же охотно подчинился воле императора и последовал за придворными.

А дворец-то как украшали! Фарфоровые стены и пол сверкали тысячами золотых фонариков, в проходах были выставлены самые лучшие цветы с колокольчиками. Беготни и сквозняка было куда как много, но все колокольчики звенели так, что ничего не было слышно.

Посреди огромного зала, где сидел император, установили золотой шест для соловья. Весь двор был в сборе, а маленькой кухарке дозволили стать в дверях — ведь она уже была в звании придворной поварихи. Все надели свои лучшие наряды, и все глядели на

маленькую серую птичку, а император кивнул ей головой.

И соловей запел так дивно, что у императора слёзы набежали на глаза, и тогда ещё краше запел соловей, и песнь его хватала за сердце. Император был очень доволен и хотел пожаловать соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей с благодарностью отказался:

— Я видел на глазах императора слёзы, и для меня нет ничего драгоценнее! Слёзы императора — это ведь настоящее чудо! Я награждён с избытком!

И он вновь запел своим дивным, сладостным голосом.

— Ах, очаровательнее кокетства и помыслить нельзя! — говорили придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы булькать, когда с ними кто-нибудь заговорит. Им казалось, что тогда они сами будут похожи на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что они довольны, а ведь это немало — угодить им труднее всего. Да, соловей положительно имел успех.

Его определили при дворе, отвели ему собственную клетку и разрешили гулять два раза днём и один раз ночью. К нему приставили двенадцать слуг, и каждый держал его за привязанную к лапке шёлковую ленточку. И прогулка была ему не в прогулку.

Весь город говорил об удивительной птице, и когда двое знакомых встречались, один сейчас же говорил: «соло», а другой доканчивал: «вей!» — и оба вздыхали, поняв друг друга.

А ещё именем соловья были названы одиннадцать сыновей мелочных торговцев, хотя всем им слон на ухо наступил.

И вот однажды императору пришёл большой пакет с надписью: «Соловей».

— Не иначе как ещё одна книга о нашей знаменитой птице, — сказал император.

Но это была не книга, а шкатулка с затейливой штучкой — искусственным соловьём. Он был совсем как настоящий и весь отделан алмазами, рубинами и сапфирами. Заведёшь его — и он мог спеть песню настоящего соловья, и его хвост при этом так и ходил вверх и вниз, отливая золотом и серебром. На шее у него была ленточка с надписью: «Соловей императора Японии ничто по сравнению с соловьём императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все в один голос, и того, кто принёс искусственного соловья, тотчас утвердили в звании «обер-поставщика соловьёв его величества».

— Теперь пусть-ка споют вместе, интересно, выйдет у них дуэт?

И им пришлось спеть вместе, но дело на лад не пошло: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный — как шарманка.

— Он не виноват, — сказал придворный капельмейстер. — Он отлично выдерживает такт и поёт строго по моей методе!

И вот искусственного соловья заставили петь одного. Он имел не меньший успех, чем настоящий, но был куда красивее, весь так и сверкал драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Все были не прочь послушать его

ещё раз, да тут император сказал, что теперь должен спеть немного и настоящий соловей.

Но куда же он делся? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открытое окно и улетел в свой зелёный лес.

— Что же это такое? — сказал император, и все придворные возмутились и назвали соловья неблагоприятным.

— Всё равно тот соловей, что остался у нас, лучше, — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь опять, и все в тридцать четвёртый раз услышали одну и ту же песенку. Однако придворные так и не запомнили её наизусть, такая она была трудная. А капельмейстер знай нахваливал искусственного соловья и утверждал даже, что он лучше настоящего не только нарядом и чудесными алмазами, но и внутренним своим складом.

— Извольте видеть, ваше величество, и вы, господа, про живого соловья никогда нельзя знать наперёд, что он споёт, а про искусственного можно! Именно так, и не иначе! В искусственном соловье всё можно понять, его можно разобрать и показать человеческому уму, как расположены валики, как они вертятся, как одно следует из другого!..

— И я тоже так думаю! — в голос сказали все, и капельмейстер получил разрешение в следующее же воскресенье показать искусственного соловья народу.

— Пусть и народ послушает его! — сказал император.

И народ слушал и остался очень доволен, как будто вдоволь напился чаю — это ведь так

по-китайски. И все говорили: «О!» — и поднимали в знак одобрения палец, и кивали головами. Только бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и очень похоже, да вот чего-то недостаёт, сами не знаем чего.

Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов страны, а искусственный занял место на шёлковой подушке у постели императора. Вокруг него лежали преподнесённые ему подарки, а сам он был возведён в звание «певца ночного столика его императорского величества номер один слева», потому что самым почётным император считал место, где расположено сердце, а сердце расположено слева даже у императоров. А капельмейстер написал об искусственном соловье учёный труд в двадцати пяти томах, полный самых трудных китайских слов, и придворные говорили, что прочли и поняли его, не то они показали бы себя дураками и были бы биты палками по животу.

Так прошёл год. Император, придворные и все прочие китайцы знали наизусть каждое коленце в песне искусственного соловья, но как раз поэтому он им и нравился. Теперь они и сами могли подпевать ему. «Ци-ци-ци! Клюк-клюкклюк!» — распевали уличные мальчишки, и то же самое напевал император. Ах, что за прелесть!

Но вот однажды вечером искусственный соловей пел во всю мочь, а император лежал в постели, слушая его, как вдруг внутри соловья что-то щёлкнуло, колёсики побежали впустую, и музыка смолкла.

Император сейчас же вскочил с постели и послал за своим лейб-медиком, но что тот мог поделать? Призвали часовщика, и после длинных разговоров и долгих осмотров он кое-как подправил соловья, но сказал, что его надо поберечь, потому как шестерёнки поистерлись, а поставить новые, так чтобы музыка шла по-прежнему, невозможно. Ах, какое это было огорчение! Теперь соловья заводили только раз в год, и даже это казалось чересчур. А капельмейстер произнёс краткую речь, полную всяких умных слов, — дескать, всё по-прежнему хорошо. Ну, значит, так оно и было.

Прошло пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, заболел, и жить ему осталось недолго. Уже подобрали и нового императора. На улице стоял народ и спрашивал первого министра, что с их прежним повелителем.

— П! — только и отвечал министр и покачивал головой.

Бледный и похолодевший лежал император на своём пышном ложе. Все придворные решили, что он уже умер, и каждый спешил на поклон к новому владыке. Слуги выбегали из дворца поболтать об этом, а служанки приглашали к себе гостей на чашку кофе. По всем залам и проходам расстелили ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и всюду было так тихо, так тихо... Только император ещё не умер. Закоченевший и бледный лежал он на пышном ложе под бархатным балдахином с тяжёлыми золотыми кистями. А с высоты в от-

крытое окно светила на императора и искусственного соловья луна.

Бедняга император дышал с трудом, и казалось ему, будто на груди у него кто-то сидит. Он открыл глаза и увидел, что на груди у него сидит Смерть. Она надела его золотую корону и держала в одной руке его золотую саблю, в другой — его славное знамя. А вокруг из складок бархатного балдахина выглядывали диковинные лица, одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые: это смотрели на императора все его злые и добрые дела, ведь на груди у него сидела Смерть.

— Помнишь? — шептали они одно за другим. — Помнишь? — И рассказывали ему столько, что на лбу у него выступил пот.

— Я об этом никогда не знал! — говорил император. — Музыка мне, музыки, большой китайский барабан! — кричал он. — Не хочу слышать их речей!

А они продолжали, и Смерть, как китаец, кивала головой на всё, что они говорили.

— Музыка мне, музыки! — кричал император. — Пой хоть ты, милая золотая птичка, пой! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я собственноручно повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но искусственный соловей молчал — некому было завести его, а иначе он петь не мог. А Смерть всё смотрела и смотрела на императора своими большими пустыми глазницами, и было так тихо, страшно тихо...

И вдруг раздалось чудесное пение. Это пел живой соловей. Он сидел за окном на ветке,

он прослышал про болезнь императора и прилетел утешить и ободрить его своей песней. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь всё убыстряла свой бег в слабом теле императора, и даже сама Смерть слушала соловья и повторяла:

— Пой, соловушка, пой ещё!

— А ты отдашь мне золотую саблю? И славное знамя? И корону?

И Смерть отдавала одну драгоценность за другой, а соловей всё пел. Он пел о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает сирень и свежая трава увлажняется слезами живых. И Смерть охватила такая тоска по своему саду, что она холодным белым туманом выплыла из окна.

— Спасибо, спасибо, чудесная птичка! — сказал император. — Я не забыл тебя! Я изгнал тебя из страны, но ты всё же отогнала от моей постели ужасные призраки, согнала с моей груди Смерть. Как мне наградить тебя?

— Ты уже вознаградил меня! Я исторг у тебя слёзы в первый раз, когда пел перед тобой, — этого я никогда не забуду! Нет награды дороже для сердца певца. Ну а теперь спи и просыпайся здоровым и бодрым! Я спою для тебя.

И он запел, и император заснул сладким сном. Ах, какой спокойный и благотворный был этот сон!

Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел.

— Ты должен остаться со мной навсегда! — сказал император. — Будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственного соловья я разобью вдребезги.

— Не надо! — сказал соловей. — Он сделал всё, что мог. Пусть остаётся у тебя. Я не могу жить во дворце, позволь лишь прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я буду садиться вечером у твоего окна и петь тебе, и моя песнь порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, укрытых от твоих глаз. Певчая птичка летает повсюду, навевается и к бедному рыбаку, и к крестьянину — ко всем, кто живёт далеко от тебя и твоего двора. Я люблю тебя за твоё сердце больше, чем за корону. Я буду прилетать и петь тебе! Но обещаю тебе одно...

— Всё что угодно! — сказал император и встал во всём своём царственном убранстве — он сам облёкся в него, а к груди он прижимал свою тяжёлую золотую саблю.

— Об одном прошу я тебя: не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всём. Так дело пойдёт лучше.

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мёртвого императора — и застыли на пороге, а император сказал им:

— С добрым утром!

Спящая царевна

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей всё нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зелёном берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит,
Ползёт к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесёшь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав её речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царём Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир весёлый тот
Царь одиннадцать зовёт

Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так! но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд,
Драгоценных, золотых,
Было в царских кладовых;
Приготовили обед,
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь сказал. —
Так и быть!» — И не послал
Он на пир старуху звать.
Собирались пировать
Гостыи, званные царём;
Пили, ели, а потом
Хлебосольного царя
За приём благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, моё дитя;
Жизнь твоя пройдёт шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых

Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черёд
И последняя идёт;
Но ещё она сказать
Не успела слова — глядь!
И незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своём
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрёшь во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моею;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдёт,
И царевна оживёт;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылася гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьёт, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И беду чтоб отвести,

Он даёт такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лён,
Прясть, сучить, чтоб веретён
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле, без забот.
Дни проходят; дочь растёт;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
«Дай, — сказала наконец, —
Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любитесь она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьётся лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит — там

Старушоночка прядёт
И за пряжею поёт:
«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданная у нас».
Гостья жданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей...
Всё исчезло из очей;
На неё находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Всё утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце её отец
Пошатнулся, и зевнул,
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьём в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий¹ сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,

¹ Хорунжий — в царской армии: казачий офицерский чин.

Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнём;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мёртвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа —
И приблизится беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, тёмный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протёк;
Словно не жил царь Матвей —
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспять ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.

Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили — но назад
Не пришёл никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время всё текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилось? В один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, тёмный, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Всё старик тут рассказал,
Что от дедов он слышал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нём давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,

Как её чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царица ждёт,
Что спаситель к ней придёт;
Как опасны в лес пути,
Как пыталась дойти
До царицы молодёжь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор.
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновение там.
Что ж явилось очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший тёмный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой;
Всё свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят

В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нём.
Едет гладким он путём
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец;
Здание — чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;
Тот не двигаясь идёт;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон волшебный овладел
Прежде сна простого им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлён и поражён
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу;
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.

Путь наверх загорожён.
«Как же быть? — подумал он.
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец,
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он,
Пышно всё, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьётся лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошёл. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет её ланит¹;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи тёмная темней,
Заплетённые косой
Кудри чёрной полосой
Обвились кругом чела²;
Грудь, как свежий снег, бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен лёгкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат

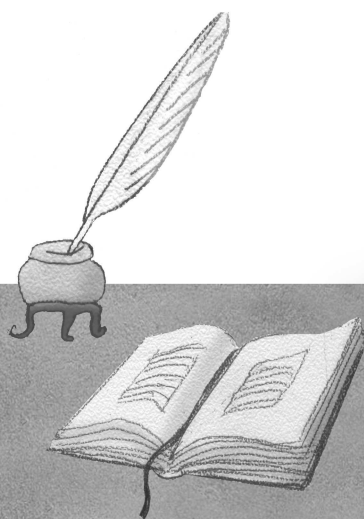
¹ Ланиты — щёки (церк.-книжн., поэт., устар.).

² Чело — лоб (устар.).

На трепещущих грудях;
Сжаты в лёгких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распалён,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом;
Распалительным огнём
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит.
Он души не удержал
И её поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося всё кругом:
Царь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Всё как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружён.
Царь на лестницу идёт;
Нагулявшись, ведёт
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
Мужи стаями летят;

Приворотный лает пёс;
На конюшне свой овёс
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струёю дым бежит;
Всё бывалое — один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот и капли не попало.

Творчество
русских писателей
XIX и XX веков



Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всём теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдёт год, и ещё год, и ещё год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его ещё больше и орал без слёз, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно,

он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орёт, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил её за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком чёрном строении, стоявшем поперёк улицы, на выезде, зажёгся красноватый, немигающий огонёк. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажжённого фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночицаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у неё были засучены, обнажая

белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо неё, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошёл за перегородку, где слышалось тяжёлое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскалённой лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на ёлку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врёшь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врёшь? — всё больше удивлялся Сашка. Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец ещё раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если ещё я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поёжился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносишь? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ёжился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила всё, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки её всё тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними весёлые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съевшийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у неё на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдёшь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подёр-

гивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох, как изобью! — кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замёрзнет, чем пойдёт к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А ещё отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина ещё рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он ещё служил в земской статистике и ничего не пил. Разошёлся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и всё, что связывалось с прошлым её мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с ёлки принесёшь, — продолжал отец.

Он хитрил — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действи-

тельно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей ещё не пускали в залу, где находилась ёлка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошёл к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста ещё не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивлённые глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосый.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузьё? На! — протянул мальчик ружьё с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвёл пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дёрнул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись ещё шире, и в них показались слёзы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачёсанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему её лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил её, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне всё равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевёл глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришёл в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдётся, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы ещё посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая ёлки. Опыт с ружьём, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашёл себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазёнки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещённую залу и тихо обходили сверкающую ёлку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губ-

ками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим её восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетённой голубой ленточкой хлопала по её плечам. Сашка был угрюм и печален, — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвлённом сердце. Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг неё чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть её так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной жёлтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращённой к нему стороне ёлки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так

пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще тёмных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нём печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем всё остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятого восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далёк и непохож на всё, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей ёлке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в тёмной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый... милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он ещё здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачёсанных волос. Дети окружили её с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомлённо повисла у неё на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошёл и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тётя, а тётя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило ещё более грубо, чем всегда. — Тё... Тётечка.

Она не слышала, и Сашка нетерпеливо дёрнул её за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дёргаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Тё... тётечка. Дай мне одну штуку с ёлки — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Ёлку будем на Новый год разбирать. И ты уже немаленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на её чёрное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку всё-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дёрнул тётку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошёл! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на неё и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на её губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему же ты не хочешь подождать до Нового года? Да

вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тётку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в неё глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама ломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил её сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на уж, на, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряжёнными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался

тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда ещё не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронёсся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворённым рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съёжившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет её с трудом проникал через закопчённое стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шёпотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

— Да, в нём есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествуя ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдёрнул руку и тёмными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а всё окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — всё это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жесточкой борьбе эгоизмов; там не знают о муках

человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и всё это чистое нашло приют в душе её, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку её дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внёс луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в чёрную душу человека, у которого было отнято всё: и любовь, и счастье, и жизнь. И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и чёрный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Всё добро, сияющее над миром, всё глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетанием его прозрачные стрекозиные крылышки. Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сли-

вало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сыну, и голова последнего так же невольно прижалась к чашоточной груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь всё, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Всё сильнее дрожала и дёргалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжёлую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем всё это?

— Ну, что ещё? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду... не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчётливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лёг на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошёл ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомлённое лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который ещё только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопчённое стекло бросала

печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжёлый запах топленого воска. Вот ангелочек вострепнулся, словно для полёта, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дёрнув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

АНТОН ЧЕХОВ

Беглец

Это была длинная процедура. Сначала Пашка шёл с матерью под дождём то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли жёлтые листья, шёл до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в тёмных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло солёной рыбой, и вздремнул. Но вот щёлкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с ма-

терью вошёл в приёмную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приёмную, подпрыгивая на одной ноге, вошёл какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать; он толкнул мать под локоть, приснул в рукав и сказал:

— Мама, гляди: воробей!

— Молчи, детка, молчи! — сказала мать.

В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.

— Подходи записываться! — пробасил он.

Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, местожительство, давно ли болен и проч. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи.

Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать; через приёмную прошёл доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором:

— Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога пропадёт!

Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал:

— Сделайте такую милость, Иван Николаич!

— Тут нечего — Иван Николаич! — передрознил доктор. — Сказано в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и всё...

Началась приёмка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора:

— Ну, что орёшь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!

Настала очередь Пашки.

— Павел Галактионов! — крикнул доктор.

Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.

— Что болит? — спросил он, не глядя на вошедших.

— У парнишки болячка на локте, батюшка, — ответила мать, и лицо её приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.

— Раздень его!

Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.

— Баба, не в гости пришла! — сказал сердито доктор. — Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут.

Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху... Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу.

— Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрас- тил, — сказал он и вздохнул: — Ну, показывай свой локоть.

Пашка покосился на таз с кровяными помо- ями, поглядел на докторский фартук и запла- кал.

— Ме-е! — передразнил доктор. — Женить пора баловника, а он ревёт! Бессовестный.

Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!»

Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздох- нул, чмокнул губами, потом опять подавил.

— Бить тебя, баба, да некому, — сказал он. — Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит!

— Вам лучше знать, батюшка... — вздохнула баба.

— Батюшка... Сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие.

Доктор закурил папироску. Пока папироска дымилась, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и всё думал о чём-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папи- роса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже:

— Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить.

— Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?

— Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся, — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. — Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдём ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет! А?

Пашка вопросительно поглядел на мать.

— Оставайся, детка! — сказала та.

— Остаётся, остаётся! — весело закричал доктор. — И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх!

Доктор, по-видимому, весёлый и покладистый малый, рад был компании; Пашка захотел уважить его, тем более что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шёл он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — всё громадное, прямое и яркое — были выкрашены в великолепную жёлтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел

палату и решил, что доктору живётся очень недурно.

Палата была невелика и состояла только из трёх кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который всё время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями: на одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырьём на голове; на другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу.

Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одёжи.

— Это тебе, — сказала она. — Одевайся.

Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубашку, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросёнка капустных листьев; он идёт, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик.

В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой.

— Ешь! — сказала она.

Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса, и опять подумал, что доктору живётся очень недурно и что доктор вовсе

не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку, потом, когда, кроме мяса, в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот всё ещё хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его возможно дольше, но старания его ни к чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего, Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.

— А где же хлеб-то? — спросила сиделка.

Вместо ответа Пашка надул щёки и выдохнул воздух.

— Ну, зачем сожрал? — сказала укоризненно сиделка. — А с чем же ты жаркое есть будешь?

Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка отродясь не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашёл, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик; Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок.

Наевшись, он пошёл прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось ещё четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом; он сидел на кровати и всё время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал